



Методы исторических занятий

Бестужев-Рюмин Константин Николаевич

Русский историк, руководитель Санкт-Петербургской школы историографии, специалист по источниковедению, тайный советник.

Аннотация

Методы исторических занятий. Восемь лекций, прочитанных в Оксфордском университете осенью 1884 г. с прибавлением вступительной лекции об обязанности профессора истории. Эдуарда А. Фримана

Ключевые слова: история, историческое занятие, обязанности, профессор

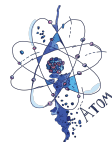


В старые годы было в обычае начинать изложение каждой науки определением её отношения к другим наукам и изъяснением тех методов, которые употребляет она для изучения отмежеванного ей поля наблюдений и исследований. Таково знаменитое у нас введение Татищева в его „Историю России с древнейших времен“. Первой из этих задач посвящена в гораздо позднейшее время речь, произнесенная в 1847 г. на акте Московского университета П. Г. Редкиным, в которой он указывал на отношение разных наук к науке права. Нечто подобное почти в то же время сделано было К. Д. Ушинским в речи на акте Демидовского лицея. В русских университетах до реформы гр. Уварова существовала кафедра энциклопедии и ученой истории, которая имела целью указать на взаимную связь наук и на взаимодействие их в развитии цивилизации. Подобная задача, к разрешению которой стремились Бэкон, Д'Аламбер, Конт и некоторые новейшие писатели по логике (Бен, Вундт и др.) в своих классификациях, кажется многим непосильною для одного человека в наше специализирующее время, но именно в наше время, когда по остроумному выражению одного русского писателя: „специалист левой руки скоро ничего не будет знать о правой“, когда появляются специалисты самых мелких специальностей, указание на взаимную связь наук становится все настоятельнее и настоятельнее: не забудем, что являются такие области знаний, в которых несомненно необходимы пособия из совершенно разных областей: такова доисторическая археология, география, лингвистика, психология и т. д. Такова же в высшей степени история. Определение отношения истории к другим наукам становится положительно необходимым в виду того, что есть покушения перевести ее из области наук духовных (этических) в область наук о природе (физических) и вместо начала свободной воли, которая долго считалась верховным началом истории, поставить начало необходимости, которым управляются явления внешней природы. При всех подобных попытках невольно вспоминается слово, сказанное М. П. Погодиным на замечание, что главный характер русской истории юридический: „А святого Сергия куда вы денете с вашим юридическим элементом!“ То же можно сказать и последователям Бокля с их физическими условиями и новейшим историкам - экономистам. Конечно, элементов в истории много и каждому есть свое место, но это место должно быть строго определено и хорошо поступит тот преподаватель истории, который, следуя примеру Фримана, уделит в своем введении в



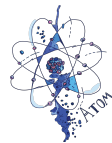
историю значительную долю внимания и этому вопросу. Правильное решение общего вопроса об отношении наук между собою зависит от усиленного внимания специалистов по разным областям знания. Только сведенные вместе замечания и наблюдения специалистов, конечно освещенные философскою идеей, могут повести к правильному построению общей теории знания и правильному определению взаимного отношения различных его отраслей. Такая общая теория должна будет иметь влияние на систему высшего образования, на организацию университетского факультетского преподавания. Так результатом подобного исследования может оказаться полезность особого факультета исторических и общественных наук, на что указывали когда-то Риль и Н. Х. Бунге (в замечательных статьях в Русском Вестнике лет 25 тому назад).

Другой ряд вопросов, занимающий Фримана, есть изложение и оценка методов изучения и воспроизведения исторических явлений. Этим вопросам так или иначе более счастливится в современной исторической литературе: им часто посвящаются отдельные сочинения (Дройзена, Гервинуса и т. д.). Иногда введение в курсы посвящается указаниям на общие законы исторического развития (таково было знаменитое в свое время *Introduction dans l'histoire universelle* Мишле, таков же первый том известной в наше время книги Бокля). Такое введение требует особенного занятия философией, ибо тот или другой взгляд на общий ход истории находится в тесной связи с тою или другою системой метафизики и этики. Конечно, ни один из преподавателей истории (даже если все свое внимание обратит он на верность хронологических дат) не может не выработать своего более или менее полного, более или менее сознательного взгляда на события, но не каждый возьмет на себя труд отвлечь этот взгляд и свести его в стройную систему, да и далеко не каждая такая система была бы полезным явлением. Само собою разумеется, что полное отрицание пользы подобных систем не возможно, хотя и возможно сомнение в их своевременности; но своевременны они или не своевременны, а мысль человеческая не может отказаться от них, как не может отказаться ни от этики, ни от эстетики, ни от метафизики (Альфред Мори в своем весьма распространенном сочинении: *„La terre et l'homme“* представил опыт особого рода введения в историю. Как известно, он собрал вкратце результаты естественных наук (со включением этнографии и лингвистики). Такое введение имеет свою пользу: изучающему историю, конечно, полезно знакомство с выводами



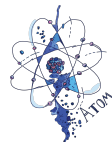
и главными Фактами естественных наук; но подобное одностороннее изложение имеет и свои большие невыгоды. Теория Шапова у нас, теории многочисленных новейших писателей во Франции служат тому ясным доказательством. Главный вред этих теорий в том, что они суживают умственный горизонт.). Первые две задачи, конечно, проще: они требуют только тех условий, без которых немислим профессор: здравого ума, довольно обширного общего образования и привычки к труду в своей области. Бывают случаи, что этих качеств и недостает у профессора, но на случаи эти показывают как на чудовищные исключения. Можно ли считать не только хорошим, но даже сносным профессором человека, который каприз личной мысли ставит выше выводов тщательного изучения, который заранее, еще не изучив, решает, как ему смотреть на дело.

Обратимся теперь к занимающей нас книге. Автор её не новичек в исторической науке, хотя только в 1884 году занял кафедру истории в Оксфорде, после того, как Стебс, известный Альфред Мори в своем весьма распространенном сочинении: „La terre et l’homme“ представил опыт особого рода введения в историю. Как известно, он собрал вкратце результаты естественных наук (со включением этнографии и лингвистики). Такое введение имеет свою пользу: изучающему историю, конечно, полезно знакомство с выводами и главными Фактами естественных наук; но подобное одностороннее изложение имеет и свои большие невыгоды. Теория Шапова у нас, теории многочисленных новейших писателей во Франции служат тому ясным доказательством. Главный вред этих теорий в том, что они суживают умственный горизонт и у нас автор „Конституционной истории Англии“, получив епископскую кафедру в Честере, отказался от профессуры. Фриман, автор „Истории завоевания Англии норманнами“, „Истории федеральных правительств“, „Сравнительной политики“ и многих других сочинений, хорошо известен и у нас: наша Академия Наук признала его уже давно своим членом-корреспондентом, а С.-Петербургский университет—своим почетным членом. Вступая на кафедру 59 лет от роду (род. в 1823 г.), принося с собою многолетнюю опытность неутомимого работника по разным отделам всеобщей истории, образование чрезвычайно обширное, взгляд весьма широкий: его занимали и архитектура, и литература, и политические учреждения, и историческая география, и запад, и восток,—Фриман своими первыми шагами на кафедре должен был возбудить всеобщее внимание людей, интересующихся делом и



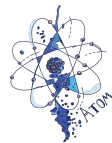
понимающих его. В настоящее время перед нами лежит его первый курс о методах исторического изложения, второй о главных эпохах исторической жизни европейских народов (который, вероятно, имеет тот же объем, хотя и другое содержание, как и его известный и у нас учебник: *General Sketch of European History*) будет им издан, и этого издания с нетерпением ждут любители истории. Остальные курсы он не намерен издавать в виде лекций, но они послужат материалом для сочинений в другой форме. Упомянем еще, что рядом с лекциями своими Фриман учредил то, что немцы называют семинарием. В этом семинарии он с слушателями, в числе которых были и не студенты, читал на первый раз Григория Турского. Взгляд Фримана на значение средневековых источников и на приемы изучения их мы будем иметь случай рассмотреть далее.

Курс состоит из девяти лекций; в первой, вступительной, автор излагает свой взгляд на обязанность профессора истории. Охарактеризовав своих предшественников, остановившись в особенности на Арнольде, чрезвычайно уважаемом англичанами, но менее известном у нас авторе обширной, далеко не конченной „Римской истории“, Фриман переходит к излюбленной своей мысли, которая уже была им блистательно высказана несколько лет тому назад в публичном чтении „о единстве истории“. По мнению его, древняя (классическая) история должна быть изучаема в связи с новою, которая служит её продолжением, новая—вместе с древнею. Известная книжка Фримана „Общий очерк Европейской истории“ написана именно сообразно с этою мыслью: она начинается историей Греции. Историю древнего и нового востока автор считает возможным и нужным сделать предметом особого изучения: в ней он видит пособие для понимания истории европейских народов, но не составную часть этой истории. Центральным пунктом изучения является для него Рим. Греция prepares Рим, новый мир живет политическими, а в значительной степени и культурными преданиями Рима (Византия тоже занимает свое место в воззрениях оксфордского профессора). Принятое в Оксфордском университете отделение новой истории вместе с новыми языками в особую школу (отделение по нашему) возбуждает сильный протест Фримана. Он указывает на то, что трудно обозначить, откуда начинается новая история и на то, что откуда бы мы ее ни начинали, мы будем все-таки резать живое тело. Только в виду существующих правил, которые, по свидетельству



Фримана, определяя число часов для профессора новой истории, но не определяя самого предмета его преподавания, устанавливают однако разделение, профессор замечает, что исходным пунктом своего преподавания он ставит V век по Р. Х. Горько жалуется Фриман на то, что классики пренебрегают изучением новой истории и новых языков, хотя только сравнительное изучение и может показать судьбу и слов, и учреждений древнего мира. В этих жалобах сказывается автор „Сравнительной политики“, где, как известно, сличены между собою первоначальные учреждения народов европейских; еще ранее, в начале своей деятельности, он делал опыт приложения сравнительного метода в своей „Истории федеральных правительств“, остановившейся, как известно, на первом томе, заключающем в себе историю греческих федераций. Сравнительный метод очень ценит Фриман; но едва ли возможно ограничить его только европейскою отраслью арийского племени и притом с отстранением славянского: в „Сравнительной политике“ автор сосредоточивается на трех племенах: греках, римлянах и германцах. Это впрочем может быть объяснено требованием автора, чтобы с историею народа изучался и его язык. Одною из главных причин, почему Фриман считает неудобным разделение древней истории от новой, выставляется именно то, что языки греческий и латинский не умерли с древним миром, но продолжали жить и развиваться. Этого не признают классические филологи, и вот почему нападает на них профессор новой истории. Нет никакого сомнения в том, что изучение древнего мира должно служить основой изучения нового.

Мы имеем на это блистательный пример в нашей ученой натуре: тот из наших профессоров всеобщей истории, который наиболее сделал для науки, перешел к изучению Византии, составившему его славу, от изучения древней Греции, ибо первое свое сочинение посвятил он той эпохе, изложение которой обессмертило Полибия. В английском обществе существует убеждение, что изучение новой истории легче изучения древней, ибо оно может быть основано на новых французских и английских сочинениях. Против этого заблуждения сильно восстает Фриман: он полагает, что изучение новой истории должно начинаться с изучения первоначальных источников в их первоначальной форме. Подобно тому, как при изучении древнего мира начинают с одного классического автора, с



изучением которого связывают изучение самой эпохи, Фриман рекомендует выбирать для начала занятий одного такого классического автора: Григория Турского, Ламберта и т. п. и внимательно изучить их. Масса материалов, представляемых новейшею историею, материалов и официальных, и неофициальных, невозможность без привычки разобраться в этом материале за отсутствием таких классических сочинений, каковые представляют древность и средние века, побуждает профессора советовать не начинать изучения с новейшей истории. Совет избрать для начала изучения классическую книгу нельзя не считать в высшей степени полезным: при таком изучении начинающий не разбрасывается, приучается читать внимательно, останавливаться на подробностях и не упускать из внимания целого. Помню, как на -моих глазах начинал свои занятия Ешевский, которому Кудрявцев, убежденный, как теперь убежден Фриман, в необходимости изучения основной книги, указал на Григория Турского. Только после внимательного изучения такого основного источника можно приступить к другим источникам того же периода и тогда овладеть всем периодом и тем развить в себе способность исторического понимания. Чрезвычайно характеристично то, что Фриман в той же лекции старается внушить слушателям, что главная цель, к которой они должны стремиться— не добывание степеней и отличий, а знание, и что знание не служит препятствием и к получению степеней—так стало быть сильно в английском университете (как, впрочем, в настоящее время и везде) стремление к внешнему виду знания, а вместе с тем скорейшему и легчайшему прохождению курса для практических целей: ибо степени, не давая в Англии преимуществ служебных, дают все-таки известное общественное положение. Это стремление язва новейших обществ.

Собственно курс начинается со второй лекции, определяющей отношения истории к родственным ей знаниям. В этой лекции сказались особенности английских воззрений и английского способа изложения. Немецкий ученый непременно построил бы науки в си стеме; английский ограничивается более практическими соображениями, для немца первое и самое главное—наука вообще, частью которой является его специальная наука, для англичанина центр его специальная наука и даже та её часть, которой он в особенности посвящает свои усилия. Таков везде англичанин: если немец станет выводить, например, науку права из оснований этических,



которые опираются в свою очередь на его метафизический воззрения- то англичанин, выведет право или из реально-существующих явлений, или из истории, понятой или принятой более или менее практически. Самое основание исторической школы права у немцев более абстрактно, чем у англичан. Всеобщая история для немца есть спекулятивное представление мирового развития, имеющее больше частью целью доказать, что цвет и плод этого развития немецкий народ. Для англичанина в этом смысле всемирной истории не существует: величайший из английских историков Гиббон сосредоточил всю историю средних веков около идеи Римской империи. Эта мысль развивается далее современными нам историками. Мы уже видели, что около неё сосредоточивает свое историческое воззрение и Фриман, при чем, конечно, теперь яснее понимается, значение восточной империи, в которой видят не только упадок; но полное понимание восточной Европы чуждо и английским историкам, как и немецким, ибо если немцам мешает прозреть их национальная гордость и вера в величие германского духа, то англичанам, сверх того, мешает практическое настроение их ума. Для англичанина, как и выразил ясно Фриман, история есть развивающаяся политика, политика есть остановившаяся история. Для немца (может быть, за некоторыми исключениями, и такими крупными, как Ранке) история и теперь, как во времена Шлецера, есть движущаяся статистика, а статистика—остановившаяся история. Следовательно, для одного идеал истории, центр тяжести лежит —в политических формах и политических отношениях, для другого в культурных формах и культурных отношениях. Конечно, и тот, и другой идеал равно допускают безграничный прогресс, но англичанин (например, Фриман), ограничивающий поле своих исследований одним, так-сказать, культурным типом, если позволительно выразиться, романо-германским, в сущности ближе немца к высказанному гениальным русским мыслителем Н. Я. Данилевским мнению о сменяющихся культурных типах, ограничивающихся известными расами. Действительно, на такую мысль наводит мнение Фримана о том, что древний и новый восток составляют особое отделение истории древнюю, а что новая история есть в сущности история Рима, приготовлением к которой служит история Греции, а дальнейшим развитием истории романских и германских народов* Выше, кафоличнее, если позволительно так выразиться, является определение русского ученого: история есть народное



самосознание; откуда следует, что всеобщая история в идеале есть самосознание человечества, конечно переданное через призму той или другой народности. Идеал этот считаю шире потому, что над политическими формами, над культурными данными ставит этот взгляд духовные качества, раскрывающиеся и в исторических событиях, и в состояниях общественных. Каждый культурный тип должен дойти именно до такого сознания это идеал истории. Дойти до такого сознания значит раскрыть всю свою внутреннюю сущность. Такое воззрение вполне согласно с воззрениями Н. Я. Данилевского: каждый культурный тип представляется известными народами; народы эти (или народ) выражают свою сущность в деятельности; наука приводит эту деятельность в сознание; сознание вносит свет в самую деятельность; деятельность становится сознательною. В человечестве наступает новая эра, ярче выступает особая сторона человеческого Духа, дотоле не проявлявшаяся в истории; таким образом в этой смене культурных типов раскрывается мало по малу все содержание человеческого духа и следовательно прогресс совершается не прямолинейно, а как бы по радиусам. Казалось бы, что такое воззрение противоречит слову апостольскому: несть еллин, ни иудей; противоречит, словом, кафоличности Богооткровенной религии, призывающей к себе все народы; но это противоречие только мнимое: национальные типы не отрицают Богооткровенной истины, а воспринимают ее по своему, ибо истина дана нам, но воспринять ее предоставлено нашей воле и нашим силам; степень её восприятия обуславливается более или менее важное значение народа в человечестве, так же как степень её восприятия обуславливается нравственное значение отдельного человека. Повелено людям сбросить с себя ветхого Адама; но это процесс болезненный и ветхий Адам все-таки остается: возьмем хотя Рим с его католицизмом; разве он не сохранил в себе ветхого Адама? возьмем Германию с её протестантизмом, плодом и германского индивидуализма, и германского рационализма; возьмем Англию с её англиканством, компромиссом между католицизмом и протестантизмом, вполне возможных в этой стране компромиссов. Восток чище сохранил вселенскую истину; но и здесь нельзя не заметить (особенно в церковном устройстве и в обряде) исторических и национальных наслоений. Если в этой сфере мы не находим противоречия теории культурных типов, то тем менее мы находим их в других сферах. В подтверждение этой теории о связи западно-европейской истории с римскою,

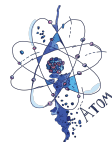


составляющею таким образом особый культурный тип, нельзя не привести указаний величайшего из наших мыслителей Хомякова на логическую связь католицизма с протестантизмом, а через него с рационализмом. Этим движением мысли в её главнейшей сфере исчерпывается в его сущности все значение культурного типа. Современный материализм, доведенный до крайности и у немцев (Бюхнер, Мошотт и др.), и у французов (составители сборника *Bibliothèque des sciences contemporaines*, который представляет любопытнейший факт современности), едва ли не последнее слово этого культурного типа. Из трех намеченных нами точек зрения: политическо-общественной английской, культурно-общественной немецкой (сюда, кажется, следует отнести и новых французов) и нарождающейся духовной русской, имеющей поставить во главе угла не материальную только и не политическую, а цельную духовно-нравственную культуру—из трех этих воззрений мы, конечно, отдаем предпочтение последнему, ибо хотя политическая форма есть видимое выражение общественного строя, но она обусловлена самым строем, а строй общественный обуславливается главным образом нравственно-религиозными основами, дающими ему тот или другой культурный характер. Не даром величайший из историков нашего времени, Леопольд Ранке, дает так много места в своем изложении религиозным вопросам, как в истории Востока (вспомним первую главу 1 тома: мон, Ваал и Иегова), так и в истории христианских времен (см. изложение богословских споров в Византии, конечно, с протестантской точки зрения). К сожалению, в настоящее время мы должны ограничиться этими, быть может, слишком общими замечаниями.

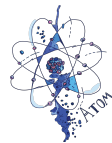
При определении отношения истории к другим областям знания Фриман чрезвычайно верно выходит из заключения, что чем более знает историк, тем шире он смотрит. Только то знание, которое никуда приложено быть не может, бесполезно для историка. Это положение он объясняет интересным примером: какой-то математик изобрел теорему, преимущество коей заключается в том, что она никакого приложения иметь не может. Такая теорема, конечно, бесполезна и для историка. Но всякое знание, имеющее практическое значение, может быть полезно и для историка: так, например, историк, случайно знающий химию, может воспользоваться своим знанием для решения некоторых специальных вопросов (припомним, например, состав бронз в так- называемом бронзовом веке или лигатуру в монетах разных эпох и т. п.). Здесь помощь



посторонней науки может быть более или менее случайная, и специалист-историк может найти эту помощь у специалиста-химика, стало быть, знание химии для него необязательно. Иное его отношение к геологии. Геологическое строение почвы имеет важное значение в истории. История Европы была бы совершенно иная, справедливо замечает Фриман,—если бы сохранилось то очертание берегов, которое существовало в так-называемый эскимосский период, когда не было ни Средиземного моря, ни Балтийского; иною была бы эта судьба, если бы не поднялись холмы у берегов Тибра, а возвышался бы один Тускуланский холм, далекий от моря и от Тибра: Рим тогда не возник бы. Вспомним кстати наш чернозем. Исчезновение пород животных из той или другой страны и смена человеческих пород одной другою, которая определяется часто геологическими причинами, чрезвычайно важны для истории. По мнению Фримана, напрасно геология и сродные ей знания слишком далеко поставлены в иерархии наук от исторических знаний, ибо и те, и другие заключают в себе факты, изучаемые на основании свидетельства; разница только в характере фактов и в характере свидетельства. Здесь, впрочем, следует допустить значительное ограничение: свидетельства, на которых основана геология, не письменные, а вещественные; письменные свидетельства в геологии значат очень мало, в истории же наоборот. Это составляет разницу весьма существенную. Пропасть между геологией и историей наполняется, по замечанию Фримана, такими знаниями, которые являются необходимыми спутниками истории, каковы нумизматика, палеография, археология вообще (При этом Фриман указывает на отношение истории искусства, преимущественно архитектуры, к истории, замечая, что эта отрасль знания, имея свои специальные свойства, входит тем не менее в круг знаний исторических. Иного и нельзя было ждать от Фримана, так искусно указавшего в своих многочисленных очерках историческое значение памятников архитектуры.) и география. Эти знания имеют много общего с геологией в своих приемах: они основаны на вещественных памятниках, а география даже берет значительную долю своего материала из геологии. Здесь же кстати автор говорит о хронологии, которая, подобно географии, считается одним из глаз истории. Разницу в отношении этих двух знаний к истории Фриман видит в том, что хотя у хронологии есть свои методы, не доступные часто для историка; главная её цель помогать истории, тогда как география имеет свое

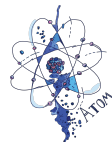


приложение и вне целей исторических: для географа могут иметь значение страны, не имеющие не только истории, но даже и населения. Взгляд этот чисто-практический; при этом забывается, что изучение таких стран с точки зрения физической географии может при сравнительном методе пролить свет и на страны, так-сказать, исторических. Большею внимание автор обращает на отношение к истории двух разрядов наук: лингвистических и юридических. Замечания автора по этому вопросу заключают в себе много умного и поучительного. Фриман убежден в пользе изучения наук того и другого разряда в связи с историей, но он указывает и на то, что каждая из них имеет свои цели, независимые от истории: так, лингвист обращает главное внимание на грамматические формы, историк — на словарь. Прибавим впрочем, что эти ограничения едва ли можно считать безусловными, едва ли не следует историку обращать внимание на падение форм глагольных и замещение их сложными (описательными), на замещение падежных форм предлогами, вообще на упрощение этимологии. Если историк даже не внесет этих фактов в свое изложение, он все же должен быть знаком с ними. Этот вопрос не менее важен, чем вопрос, поставленный Фриманом, на каком языке говорили между собою люди той или другой эпохи, вопрос, в особенности важный там, где по историческим условиям сталкивалось несколько языков, как например, в Англии при норманнах или, прибавим, в Литве при Ягеллонах. Защищая сравнительное и историческое языкознание, как и сравнительное и историческое изучение юридических институтов, автор справедливо замечает, что без истории ни языкознание, ни правоведение не были бы науками в полном смысле слова, а история и без них была бы наукой. В подтверждение его слов можно привести общую грамматику, которой придавали такое значение в XVIII в., и теорию естественного права. Лишенные опоры истории, эти обе попытки обобщить языкознание и правоведение были бесплодны, а последняя даже вредна: естественное право, выходя из ложной теории первоначального договора, лежащего будто бы в основании общества, приучало к мысли, что строение общественное есть дело рассудка, которому нечего соотноситься с преданиями (Впрочем и теория общей грамматики выходит из предположения об общем соглашении при образовании языка.). Пагубные следы этого воззрения еще живы и доселе. С ними обязана бороться наука. Защищая сравнительное изучение языкознания, автор снова возвращается к ограниченности тех



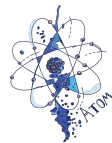
филологов, которые заперлись в тесных пределах классических языков, изучаемых в их цветущий период, а также и против тех, которые желают ограничиться только новыми языками без связи с древними. Стремление сделать науку об языке чисто-естественною наукой, стремление, столь заметное в наше время у многих лингвистов, встречает у Фримана энергическое и верное опровержение, ибо в слове по преимуществу сказывается духовная природа человека: ло- уо« значит и слово, и разум, а христианство придало этому слову еще более высокое духовное значение Богослова" (В Historical Essays Фримана находим (Third series) замечательную статью Race and Language, в которой очень метко указано различие этнологии от лингвистики: первая основана на Физических различиях человеческих пород, независимых от воли человека, ибо никто не может изменить Формы своего черепа, а вторая разделяет племена по языкам, в значительной степени зависящим от человеческой воли, ибо часты случаи, когда народ одного племени принимает язык другого. Вот почему первую науку Фриман считает Физическою, а вторую историческою. Язык, по мнению Фримана, более, чем происхождение отличает один народ от другого, ибо не только отдельные лица, поселясь между людьми одного происхождения, сливаются с ними, но и целые массы сливаются также: Фриман основывается главным образом на том, что в образовании родов и племен в древности начало усыновления (adoptio) играло важную роль. У нас на это начало с особою силой (быть может, не без преувеличения) указывал замечательный, теперь, к сожалению, уже не живущий с нами, исследователь—А. И. Никитский.) .

Переходя к отношению правоведения к истории, автор верно указывает на то, что наука права имеет свою отдельную от истории область: практическую и может и должна быть изучаема для практических целей; но эти практические цели не должны закрывать от исследователя исторических основ. Старая английская юридическая школа, изучающая Блекстона вместо источников, возбуждает протест Фримана. Он припоминает, как в то время, когда он был экзаменатором, юрист, его товарищ, требовал от экзаменуемого сказать, что Вильгельм Завоеватель ввел в Англии феодализм, и указанием на учебники опровергал замечания самого Фримана. Горячо защищает автор сравнительный метод Мэна и исторический Стеббса. Замечательно, что главное внимание автора обращено на публичное право, а между тем для историка в высшей степени



важно право частное. Важна, например, в истории всей новой Европы борьба начал римского права с обычным и их взаимодействие. Это мы можем до некоторой степени видеть даже и у нас. Таковы, в общих чертах, взгляды автора на отношение к истории различных наук. Читатель поражается тем, что в списке Фримана не видит науки экономической, которая у современных нам историков получает первенствующее значение. Определить законное место явлениям экономического порядка в ряду явлений исторической жизни—одна из самых настоятельных задач. УТХ век слишком горд своим материальным прогрессом и слишком склонен видеть в нем венец развития человечества. Тут, конечно, нельзя не видеть реакции против воззрений, ставивших на первый план внешний блеск и внешнее могущество; но реакция заходит слишком далеко: забывается то, что „единое есть на потребу“. Невольно ищешь в книгах, подобных книге оксфордского профессора, ответ на то, в какое отношение автор становится к вопросам религиозным. Он, очевидно, не принадлежит к числу яростных противников религии, неустанно повторяющих восклицание Вольтера: *écrasez l'infame* или утверждающих (как Мортеллэ в *Prehistorique*), что канибальство есть плод религиозных верований и т. и., но он и не принадлежит, очевидно, к числу людей убежденных в том глубоком значении, которое имеют верования в может, не без преувеличения) указывал замечательный, теперь, к сожалению, уже не живущий с нами, исследователь—А. И. Никитский народной жизни. Очевидно, что для него церковь главным образом— учреждение; но отчего же в Англии из этого учреждения люди рвутся в массу сект (Подобный вопрос ставится и у нас и ставится вполне законно. Быть может, исследование его придаст более духовной энергии представителям нашей церкви и послужит началом выхода из того положения, которое создалось для неё в начале XVIII века, быть может, не без благоприятных для того условий и в предшествующее время. Вопрос обширный, но настоятельный.); отчего английские богословы ищут часто примкнуть то к православной, то к католической церкви? На сколько это учреждение узко—вот [вопрос глубокой важности для историка. Впрочем этого вопроса мы уже касались выше, но не могли и здесь пройти мимо него, ибо люди науки нередко обходят его, а между тем он-то и лежит „во главе угла“.

Следующая лекция (2-го курса) посвящена вопросу о трудности изучения истории. Мы уже указывали на предварительную



заметку Фримана, направленную против мнения тех, которые считают изучение новой истории легким. В занимающей нас лекции профессор обстоятельнее рассматривает этот вопрос и указывает на причины, почему новая история считается более легкою, чем древняя. Замечания Фримана направлены против местных английских заблуждений, но они часто имеют приложение и к другим обществам. Прежде всего он указывает на господствующее в обществе полное невежество по вопросу об источниках новой истории. Многие, как он утверждает,—уверены в том, что источники новой истории хранятся в рукописях, что печатных и совсем нет. Не встретим ли и мы между нашими образованными людьми таких, которые не знают, что напечатаны летописи? В одном учебнике русской истории случилось нам прочесть, что Степенная книга и Макарьевский Минеи были напечатаны при Грозном; стало быть, автор учебника только слышал об этих двух источниках. Для людей, думающих так, дело историка представляется особенно трудным, но за то облегчается изучение для других, ибо они могут довольствоваться лишь новыми изложениями. Вследствие того каждый считает себя в праве судить об исторических фактах, ибо очень немногие могут уличить его в невежестве. Фриман останавливает внимание своих слушателей на том, что невежество, которое проявляется в газетных статьях и в популярных книгах, почти не возможно в статьях о науках точных: позволит ли себе какой-нибудь серьезный журнал напечатать на своих столбцах статью, в которой будет доказываться, что солнце ходит около земли, а между тем, по свидетельству нашего автора, статьи, исполненные невежества в истории, печатаются не только в газетах, как например, в Times, но даже в археологических сборниках: в одном из них он нашел статью о Салическом законе, как основе исключения женщины от французского престола, со ссылкой на Вольтера. Стало быть, автору неизвестны были не только изданные тексты Салического закона, но и исследования о нем. Самые яркие примеры подобного невежества автор встречает в выходящих во множестве провинциальных сочинениях по местной истории (думаю, что подобных примеров можно подыскать много и в других странах). Главною причиною распространенного убеждения в легкости изучения истории, по мнению профессора, является отсутствие в исторических сочинениях технического языка. Действительно, человек, незнакомый с химией, открывая химическую статью или книгу, встречает целые страницы,



наполненные непонятными для него словами и формулами. То же почти встретит он и в книгах по другим естественным наукам. И в книгах исторических встречаются, конечно, некоторые слова, обозначающие разные понятия (преимущественно юридические), но таких слов не много, да к тому же они часто объясняются в самом изложении, и во всяком случае из этих слов не составляется целых предложений. История кажется легкою еще потому, что писатель исторический более или менее обязан заботиться об изяществе разказа, так как исторические книги по большей части имеют повествовательный характер.' Вследствие того писатель, угождающий своим разказом вкусу публики, пишущий слогом романов или газетных фельетонов, может иметь в публике более влияния, чем писатель, более его знающий, точнее относящийся к источникам, но не прибегающий в своем изложении к эффектам литературным. Фриман примеров не приводит, но мы можем вспомнить хотя Капфига, чтобы не упоминать о русских и недавно умерших, и ныне благополучно живущих. Вспомним только, как долго С. М. Соловьев считался ниже некоторых других, которые брали верх только угождением господствующим мнениям да литературными эффектами. Впрочем Фриман спешит, вслед за превосходною характеристикой писателей этих двух разрядов, указать на то, что прелесть литературного изложения в руках мастера не мешает серьезному значению самых трудов. Он приводит в пример Гиббона, Арнольда и Маколея (последнего впрочем с значительными оговорками, но с признанием за ним и серьезного знакомства с делом, и мастерского художественного изложения); мы же можем припомнить Карамзина и Д. И. Иловайского (Нам случилось читать, будто изложение Д. И. Иловайского только литературное (то-есть, гладкое, ясное), а не художественное; но подобное суждение свидетельствует только о том, как извращен вкус у нашей публики пряными произведениями разных quasi-историков.)). Одним из препятствий к точному знанию Фриман считает то обстоятельство, что каждый из нас путем наслышки знает что-нибудь из истории. Этим путем часто образуются предрассудки; с которыми очень трудно бороться даже занимающемуся специально, а неспециалисты могут так и остаться с этими предрассудками. В конце лекции Фриман снова обращается к классикам, повторяя то же, что мы уже видели выше: он вполне одобряет систему начинать изучение европейской истории с памятников Греции и Рима, полагает, что



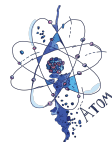
изучение этих памятников дает твердое основание для изучения дальнейшей истории, что подтверждает своим собственным примером, но он взывает к классикам, чтоб они отказались от своего горделивого пренебрежения ко всей истории, последовавшей за золотым и серебряным веками римской литературы.

Третья лекция курса посвящена вопросу о характере исторической достоверности (В русской литературе лет около сорока тому назад поднят был вопрос об исторической достоверности в замечательных статьях ир. С. С. Уварова (в Современнике) и П. Н. Кудрявцева (в Отечеств. Записках)). Автор начинает свое изложение с определения истории как науки (или знания) о человеке, как члене политического общества (as a political being).~Нас прежде всего останавливает здесь отождествление слов науки и знания (Science и Knowledge); мы привыкли разделять эти понятия, разумея под словом наука систематическое и методическое знание. В этом случае мы являемся учениками немцев, разделяющих понятия Wissenschaft и Doktrine. Ясно, что между этими понятиями существует коренное различие: знания скопляются практическим путем, но получают характер науки лишь тогда, когда найдено основное начало, руководясь которым могут быть расположены методически накопившиеся знания. Науку в этом смысле следует отличать от научного метода, то-есть, методологического исследования. Научный метод прилагается и к знаниям, не составляющим науки; так, например, археологические изыскания должны совершаться с научными приемами исследования, но археология есть собрание разнородных знаний, не имеющее ни своей системы, ни своего основного начала. Вот почему и Фриман полагает, что право называться наукой принадлежит не истории, а тому, что он называет политикой, имеющею своею целью привести в систему все то, что сообщает история, и таким образом явиться высшею целью истории и её завершением. Очевидно, что то, чтд Фриман называет политикой, соответствует тому, чтд у многих французских, немецких и английских писателей называется социологией, с тем различием, что в понятии политики на первом плане стоит и должно стоять понятие государства, а в понятии социологии на первом плане стоит понятие общества. Никто из людей правильно мыслящих не допустит в наше время того противоположения общества государству (то-есть, правительству, администрации), которое господствовало лет



тридцать тому назад, но каждый должен согласиться в том, что понятие общества шире понятия государства. Конечно, в современных попытках научно построить социологию мы встречаемся с недоразумениями, подобными тем, которые представляли старые попытки философии истории, хотя и в другом направлении. О попытках философии истории с ужасом говорит Фриман и потому отвергает самое название. Современные социологические построения грешат главным образом преобладанием естественно-научной и экономической точки зрения. Эти точки зрения тесно связаны между собою: современное естествознание (в большинстве своих представителей) ставит главной своею целью механически объяснить мир, удалив все, как ныне любят выражаться, теологические и метафизические объяснения. Материальное благосостояние ставится вследствие того целью человеческого развития. Оттого и современные социологи, и подчиняющиеся их влиянию исследователи исторические заняты главным образом экономическими отношениями и ими объясняют развитие общества. С этой точки зрения единственным мерилom умственного развития служит развитие естествознания, а при том характере, который оно получило с конца XVIII века— развитие материализма. Будем надеяться, что подобному воззрению не суждено окончательно возобладать, и если к нему пришла современная цивилизация, то к нему же некогда пришла и древняя цивилизация, и только обновленная живительным духом христианства, и найдя себе „новые меха“ в новых народах, могла она развиваться в средние и новые века. Едва ли не следует, однако, признать настоящую стадию развития за последнюю. Все говорит о том, что должен выступить новый культурный тип, хотя представителям его надо заслужить свое историческое место, ибо даром ничего в мире не дается.

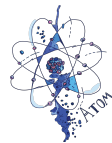
Нельзя не согласиться с Фриманом, что повествовательная история не есть наука, хотя требует от работников научного метода. Характер науки получает та форма истории, которую мы позволим себе по старому назвать философией истории, ибо такое название исключает крайности и социологии, и политики, и хотя допускает разнообразие взглядов, происходящее от различия метафизических и этических систем, но дает возможность шире поставить вопросы. От влияния метафизических и этических воззрений не свободны ни социология, ни политика, в особенности первая. Механическое мирозерцание есть метафизическое учение: материализм, а



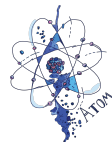
утилитаризм (с его видоизменением альтруизма)—тоже учение этическое. От метафизики и этики некуда уйти человеку, и отказываясь от них, он все же ими занимается: как мольеровский герой, не зная того, что говорит прозой, все же говорит прозой.

Современная социология, стремясь стать наукой естественной, желает принять точный характер науки о природе и подобно астрономии, химии, частью метеорологии иметь возможность предсказывать явления. Бокль прямо высказывает эту цель. Фриман блистательно доказывает разницу исторической достоверности от достоверности наук точных.

История, как известно, основывается на показаниях; Фриман замечает, что в этом случае положение историка хуже положения геолога: геолог может ошибаться, может лгать; но скалы, слои не лгут и не ошибаются,—тогда как в истории ложь и заблуждение возможны в самом первоначальном источнике. Даже в личной жизни каждого из нас многое известно нам по наслышке: первые годы детства, например. Даже и позднее я могу быть в местности и ошибиться, поверив неточному показанию в обозначении местности, могу слышать речь и ошибиться в имени оратора. Известно, что никогда два очевидца не сообщают в одном и том же виде происшествия, при котором они присутствовали. В разказе о битвах и других сложных событиях можно объяснить это еще тем, что очевидец видел только одну часть поля действия, один из его моментов, но то же замечают при передаче простых явлений, при сообщении чьих-нибудь слов, ибо и здесь передача случившагося зависит от личных взглядов свидетеля, и нам приходится сводить показания очевидцев и выбирать из них то, что согласуется. Когда нам приходится выбирать из нескольких показаний, мы выбираем обыкновенно то, которое нам кажется более вероятным, и здесь мы можем очень ошибиться: тот, кому для какой-нибудь цели нужно выдумать известие, старается придать своей выдумке наиболее вероятия; следовательно, бывают случаи, когда известие, не невозможное физически, но невероятное, должно быть предпочтено. Так при нескольких чтениях одного и того же места памятника критики предпочитают более трудное, ибо переписчикам легче заменить неизвестное слово известным, чем на оборот [**])• Особенно правило это применяется там, где по всяким соображениям изобретатель известия, если оно изобретено, должен был бы подставить более известную местность или более известное имя, а он ставит менее известное. Конечно, разобраться в этом предстоит критике исторической, и

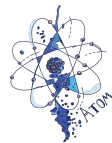


она не может прямо отрицать такие невероятные известия, как не. может прямо отрицать и легенды. Так, например, Фриман не считает возможным прямо отрицать легенду ни тогда, когда повторяется в нескольких случаях одно и то же действие (например, самопожертвование двух или, по некоторым, трех Дециев), ни тогда, когда она кажется невозможной, как, например, в случае основания Рима двумя вскормленными волчицею близнецами, когда ни соблазнительно объяснить эту легенду лесистым и диким видом тибрских холмов в то отдаленное время. Отвергнуть прямо эту легенду, по мнению Фримана, нельзя потому, что случаи кормления детей диким зверем встречаются въ считающихся достоверными разказах путешественников; стало быть, в данном случае мы можем только сказать, что эта легенда не достаточно подкреплена свидетельствами. Все сказанное до сих пор служит, по замечанию Фримана, скорее к доказательству недостоверности, чем достоверности истории; „но“, продолжает он,—„различие между достоверностью других наук и нашею состоит только в степени, а не вроде- Полная достоверность доступна немногим, иные полагают даже, что она никому недоступна“. В объяснение приводят они мнение Милля, будто может существовать мир, где $2 \times 2 = 5$. Положим, что такого мира, как основательно доказывает один из самых глубокомысленных русских мыслителей Н. Н. Страхов, и существовать не может; но все же нельзя не согласиться с Фриманом, что так-называемые законы естествознания „суть выводы из наблюдений, что в основе кладется совершенно неясное понятие силы, а главное, что наши умственные силы не могут понять ни абсолютного зачала (Для избежания свешения понятий мы позволили себе перевести beginning словом зачалю.)—, ни его отсутствия, ни отсутствия конечной причины, ни её природы“. Таким образом, по мнению Фримана, во всех науках, за исключением разве только математики, мы имеем дело не с достоверностью, а с большею или меньшею вероятностью. Конечно, события нравственного мира более представляют колебаний, чем явления мира вещественного, ибо источник их человеческая воля, но с другой стороны, бессознательно сущность воли доступна нам более, чем понятие силы, которое, по замечанию Фримана, только „приличный способ выразить наше невежество об основной причине“. Вследствие всех этих соображений достоверность истории, по мнению Фримана, нисколько не уступает достоверности других областей знания.



Четвертая лекция посвящена вопросу о первоисточниках. Профессор выходит из того несомненного положения, что историческое изложение только тогда и имеет цену, когда оно основано на источниках. Устанавливать это начало приходится ему потому, что являются сочинения, написанные на основании двух или трех новейших сочинений. Конечно, всех источников европейской истории или даже истории, например, Англии не в состоянии никто изучить; но у каждого должен быть один или несколько периодов изученных им вполне. Таким образом приобретает исторический такт, способствующий заметить, в чем заключаются ошибки чужого изложения, а следовательно, дающий возможность поправить эту ошибку обращением к первоисточникам. Прибавлю к этому, что для историка обязательно иметь общее понятие о главных источниках всех периодов и даже поверхностное знакомство с ними (то-есть, в пределах отмежеванной им себе специальности). От этих общих замечаний Фриман переходит к определению того, что такое первоисточник. Он считает это необходимым в виду того, что многие равно ссылаются и на Фукидида, и на Грота.

Самым важным источником автор считает рассказ современника о том, что он сам видел или о чем слышал от очевидцев. Таков рассказ Фукидида, Аммиана Марцеллина и т. д.; Ливий, Тацит, Плутарх, даже Геродот являются, по его мнению, несколько в ином свете: они сообщают не то, чему были современниками, но пишут на основании письменных или, как Геродот, устных рассказов и потому часто заменяют нам потраченные источники. Можно еще прибавить, что Геродот драгоценен известиями о тех странах, которые он посетил сам и, следовательно, относительно их топографии и обычаев является непререаемым первоисточником. Уяснив далее свою мысль несколькими примерами писателей средневековых, автор переходит к актам юридическим, дипломатическим и т. п. Есть мнение, что история должна быть изучаема преимущественно по актам; признавая за этою мыслью значительную долю правды, Фриман спешит указать на то, что безусловное приложение её может повести к ошибочному изложению; рассказ обыкновенно последователен; такой последовательности нельзя искать в актах, хотя бы они и сохранились в хронологически непрерывном ряде, ибо и тогда они представляют только некоторые стороны современной жизни, и притом формальной, следовательно ими может быть только дополняем и объясняем связный рассказ, ибо как говорит профессор: „рассказ без актов неполон, но по крайней



мере понятен; а акты без разказа едва ли могут быть понятны". Вот почему Фриман в особенности настаивает на выборе для начала занятий один такой связный разказ; очень важно его указание, что при таком выборе следует столько же руководиться литературным, сколько и историческим значением такого разказа. Установив эти начала, автор показывает необходимость выбора между первоисточниками, указывает на то, что степень их достоверности весьма различна, но нередко для изучающего важно не только то, что было, но и то, как совершившееся представлялось современникам; потому могут быть важны писатели, передающие слухи, анекдоты и т. п., важны могут быть писатели, не имеющие в виду цели сообщения исторических сведений, а какая-нибудь иные практические цели. Так важны донесения послов, сообщающих своему двору о событиях той страны, куда они посланы. На донесениях венецианских, как известно, главным образом, основал свои труды Ранке; в русской исторической литературе давно уже оценено значение посольских донесений. К тому же разряду Фриман относит жития святых, писанные с целию возбудить благочестие, но которые могут быть интересны и по указанию на нравы, и по выражению господствующих взглядов. Такое значение житий тоже оценено и в нашей литературе. К анекдотам Фриман относится строже, и совершенно основательно, ибо, как и он замечает, они редко доходят до нас от современников, еще реже можно отличить в них сознательную цель: так «Тайная история» Прокопия до сих пор подвергается таким сомнениям. Предостережение Фримана от употребления анекдотов в дело не бесполезно было бы для некоторых наших историков, слишком на них падких. Вообще, можно сказать, что анекдот, представляя исключительный случай, редко может служить для характеристики общества. Следует постоянно помнить пример Токвиля, который в своем знаменитом сочинении: «Старый порядок и революция» пользовался только фактами, наиболее часто встречавшимися в актах, и притом в разных краях, ибо как общие факты они наиболее характеристичны. Чрезвычайно важным источником считает Фриман национальные эпопеи, изображающие первоначальное состояние общества, в особенности Гомеровские поэмы. Такое значение народной эпопеи в нашей литературе сделалось общим местом, благодаря трудам Ф. И. Буслаева, О. Ф. Миллера и т. д. Мне кажется, что литература всех времен заслуживает такого же внимания; не даром С. М. Соловьев так ревностно следил за



нею во все периоды развития русской жизни, с чем, вероятно, соглашается и сам Фриман, ставя в следующей лекции Данта в ряд первоисточников исторических. Изложив свое учение о первоисточниках, с которым остается только соглашаться, по временам лишь восполняя его, Фриман останавливается на вопросе о выборе исторического периода (ограничиваясь здесь пределами своей кафедры). Он полагает, что не следует ограничиваться одним периодом, а следует выбрать по крайней мере два; сверх того, он считает необходимым, чтобы промежуток между избранными периодами, которые, по его мнению, должны быть не близки один к другому, наполнен был изучением пособий, с проверкою по возможности по первоисточникам. Затем, как пример для взаимной проверки разнородных источников, он представляет сличение показаний Doomsday-book (английская писцовая книга времен нормандского завоевания) с хрониками. Лекцию он заключает обращением к занимавшимся классическими языками, приглашая их перейти к английской истории, ибо он считает, что они более тщательно приготовлены к ученым занятиям; но мы уже знаем, что изучение классических языков, по мнению Фримана, не должно сосредоточиваться около грамматических тонкостей.

В пятой лекции профессор снова возвращается к вопросу о неудобстве разделять историю новую от истории Греции и Рима. Завоевание римских земель варварами, по его мнению, было скорее завоевание варваров римскою цивилизацией. Конечно, в землях Германского племени это завоевание было менее полно, являлись писатели на языках германских, начиная с перевода Библии Улфи-лоу, в англо-саксонских хрониках, в переводах Беды, Орозия и Боэция, сделанных королем Альфредом. Дело Альфреда сопоставляет автор с делом Катона Старшего, первоначальника латинской историографии.

Начало письменности па романских наречиях возникает позднее: французские хроники начинаются с XI века, а Дант является в XI в. Таким образом, в продолжение семи или восьми столетий народы европейские постепенно заменяли латинский язык своими народными языками; но и латинский язык продолжал существовать и служить преимущественно для церковных целей и для духовных писателей. Автор делает любопытное замечание, что в истории Римской империи было время, когда латинский язык уступил греческому. Это было во II и III веке, когда Марк Аврелий писал по гречески; латинский



язык сохранился только в Африке (сохранился и в памятниках юридических). С IV века снова входит в силу латинский язык, даже некоторые греки (например, Аммиан) пишут по латыни. С этого возрождения латинской письменности начинается собственно средневековая литература: расстояние между Тацитом и Аммианом более велико, чем между Аммианом и средневековыми писателями. Строгие классики не желают знать ни того, ни других. На востоке точно также держится греческий язык. Любопытно то обстоятельство, что если на западе в числе писателей духовных было больше, чем светских, на востоке было на оборот: писали государи, полководцы; писали женщины царского рода (Анна Комнена). На востоке нельзя даже указать ни момент времени, с которого можно было бы начать средневековую литературу, ни место, где она началась; но на западе таким местом можно до некоторой степени считать Галлию, и преимущественно Овернь, родину и Сидония Аполинария, последнего—по выражению Фримана—классического писателя, и Григория Турского, первого—по его мнению — писателя средневекового. Не останавливаясь на параллели этих двух писателей, из которых один близко известен (или должен быть близко известен) нашей публике из превосходного сочинения Ешевского, параллели, которой автор дает много места. При изучении средневековых писателей профессор советует различать их по их значению. Он утверждает, что есть не мало людей, которые всем им придают одно значение, как было некогда в эпоху ' возрождения, когда верили, что все древние имеют одинаковое значение. Заметки автора по этому поводу, не смотря на свою мимолетность, могут быть очень полезны для изучающих историю. В конце лекции он снова повторяет свою мысль, что изучение новейшей истории (даже XVI века) не возможно без общего знакомства с историей V века до Р. Х. и V по Р. Х., ибо прочное историческое знание может быть приобретено только изучением предыдущих периодов, иначе непонятно будет последующее.

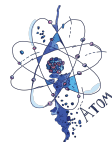
В шестой лекции профессор сообщает своим слушателям ряд практических замечаний об источниках (по его выражению) вспомогательных; к этому разряду он относит все, что не есть исторический рассказ. Иные из этих источников подлежат ведению наук естественных, другие только внешними условиями отличаются от связных исторических рассказов. Так, например, и Юлий Цезарь, и Август оставили рассказы о своей деятельности, но рассказ первого написан в книге (Записки о Гальской и



междоусобной войнах), а другой приказал вырезать свой разказ на стене храма (Анкирская надпись). Таким образом первый разказ есть источник главный для своего времени, а второй— вспомогательный для своего. Ясно, что это разделение чисто внешнее. Надписи, подобные Анкирской, например, египетския, ассирийския, бегистанская и т. п., не могут не считаться первоисточниками; нося характер официальный, они подлежат критике на тех же основаниях, на которых она вообще рассматривает официальные источники.

Свой перечень источников вспомогательных Фриман начинает с черепов, свидетельствующих о различии племен, населявших страну в ту или другую эпоху. Изучение черепов приводит, как известно, к тому любопытному выводу, что чистых рас собственно нет: французские археологи находили в современном населении Франции черепа, принадлежащие самым древним расам каменного периода. Очевидно, что при появлении нового племени в той или другой стране, не все представители старого уничтожаются или уходят," но значительная часть их остается и сливается со вновь прибывшими.

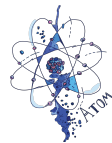
Рядом с черепами автор ставит произведения рук человеческих, начиная с самых грубых орудий племен первоначальных и с их грубых сооружений. Ясно, что такие памятники разных периодов развития чрезвычайно важны для изучения постепенного сложения национального типа, его особенностей и тех влияний, которым он подвергался. Здесь автор указывает на то, что археолог или техник-архитектор могут определить по техническим приемам, какое сооружение древнее, но самый век не может быть определен без письменных свидетельств. Известно, что первоначальные орудия, до сих пор существуют в Австралии; говорят даже (сообщает Фриман), что мегалолитические сооружения еще до сих пор воздвигаются в некоторых местностях Индии. Руководствуясь только самим памятником, можно впасть в грубые ошибки, на которые указывает автор; так церковь в Киркуоле, бывшем некогда главным городом Скандинавского графства, считается представительницею шотландской архитектуры, на том основании, что местность эта на Оркадских островах. Надписи на памятнике (например, на римском Пантеоне) придают нередко памятнику еще особое историческое значение. Переход от монументальных -Источников (К документальным (оставляем номенклатуру Фримана) составляют,) по мнению автора, монеты.



Изображения на них, а в особенности надписи, являются часто единственным источником для какого-либо события. Так, приводит он известный пример определения посредством монет ряда бактрийско-греческих царей; другой пример его личный: с помощью искусного нумизмата, изучавшего монеты городов Ахейского союза, ему удалось составить наиболее полный список этих городов. С помощью монет может быть восстановлена часто и историческая номенклатура местности; так, на монетах элидских читается FAAEI2N AXAI2N (то. есть, с дигаммой). Пользоваться этими источниками можно при посредстве большой практической наметанности: так, говорит автор,— историк читает надпись Антиоха, но только опытный глаз привычного нумизмата, изучившего эмблемы, может сказать, который это Антиох.

От монет автор снова переходит к надписям. Надпись на памятнике прежде всего определяет век памятника, но часто дает нечто большее: так пропуск родового прозвания Агриппы в надписи на Пантеоне говорит о гордости Агриппы: он намеренно пропустил свое плебейское прозвание. Надпись на знаменитом саркофаге Корнелия Луция Сципиона Бородатого, находящаяся ныне в Ватикане, сообщает, не смотря на свою краткость, известия, не сходные с тем, чтб читается у Ливия.

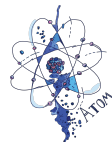
Фриман приводит еще характеристичный пример значения надписей: у подошвы холма Перуджии находится этруская усыпальница: на одном из саркофагов надпись по этрусски справа на лево и читается *Avle Felimne*, а на другом, заключающая в себе прах сына этого лица, надпись с лева на право и читается: *Anlus Iu- lumnus*. Таков переход, совершившийся в одно поколение! Далее автор обращает внимание на более обширные монументальные надписи: на речь Клавдия к галльским сенаторам, которая, сравненная с изложением Тацита, не только служит к установлению фактов, но и к определению способа, каким древние историки пользовались своими Источниками; договор Афин с Халкидою, сохраненный тоже в надписи, показывает ясно их взаимные отношения; договор Рима с Астипилаей (одним из Спорадских островов) напротив, по замечанию автора, без общих исторических сведений мог бы привести к заблуждению: Рим относится к этому островку, как равный к равному. Дело объясняется тем, что гавань Астипилаи нужна была Риму для борьбы с пиратами. Затем идут беглые замечания о необходимости критически относиться к официальным



документам. Автор, между прочим, приводит любопытный пример: когда в 1884 г. поднялись толки об угнетении Македонии, английский министр иностранных дел, ссылаясь на свидетельство турецкого посланника, утверждал что там „все благополучно“. „Лучшее средство против таких прискорбных заблуждений“, говорит автор,—„в прошедшем или настоящем здравое изучение истории, тщательное взвешивание свидетельств, основательный разбор документов“.

В седьмой лекции автор переходит к новым писателям. Под этим названием он понимает не столько писателей о современных им событиях, сколько историков, занимающихся прошедшими веками на основании источников. Первые, по его замечанию в некоторых отношениях могут быть приравнены к первоисточникам, хотя положение Кинлека, автора „Крымской войны*“ во многом не похоже на положение Фукидида, ибо первый пишет главным образом на основании письменных источников, второй — прежде всего на основании личных наблюдений и устных рассказов. Даже современный общественный или государственный деятель, если он пишет историю своего времени, должен многое почерпнуть из источников всем известных, и следовательно, контроль за его показаниями легок. С этой стороны писатели современной истории стоят на одной степени с современными учеными, изучающими историю былого. Нам странно, что в своем перечне источников автор не обратил внимание на писателей записок, значение которых так велико в истории последних столетий.

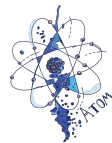
Писателей исторических сочинений о временах прошедших Фриман считает главным образом комментаторами первоисточников и с этой стороны советует читать их, только ознакомившись с главным источником эпохи, если таковой есть для изучаемого времени; но он считает полезным чтение новых писателей для тех периодов, которые служат связью между взятыми для изучения периодами, ибо мы знаем, что он советует начинающим изучать не один период и притом не избирать периодов, непосредственно следующих один за другим. Совет этот особенно полезен потому, что сличение двух отдаленных периодов, изученных равно тщательно, способствует развитию исторического понимания, ибо наводит на сравнение. Читать новых писателей советует Фриман также и для тех периодов, источники которых мелки, разбросаны и могут быть прослежены только при руководстве человека, уже изучившего их. Для



начинающих такие периоды лучше не брать, ибо здесь, предоставленные своим силам, они могут запутаться.

Значительную долю этой лекции автор посвятил характеристике разных историков. Здесь я не буду следить за ним, ибо и так уже мое изложение становится слишком обширным. Замечу только, что им выбраны историки преимущественно английские, а отчасти немецкие; странно, что Ранке поминается только одною строкой и то в неблагоприятном смысле. Из французов выдвигается один Авг. Тьерри. Фриман, признавая его великое дарование, осуждает прежде всего его главную мысль и потому находит нужным рекомендовать своим слушателям читать »Историю завоевания Англии норманнами“, как и »Айвенго“ Вальтера Скотта, только после изучения Кембля и Пельгрева. Другое обвинение его против Тьерри состоит в том, что этот писатель не различал критически своих источников и нередко позднейшим придавал большее значение, потому лишь, что они более соответствовали его главной мысли. Немцев Фриман осуждает за то, что они мало знакомы с действием народных собраний и представительных учреждений, а Момзена еще за то, что он слишком поклоняется успеху. В заключение профессор советует слушателям не ограничиваться „новейшею книгою“, которая заменила будто бы все старые, но читать и прежних писателей, у которых много хорошего, и которые интересны даже с точки зрения истории мнений.

Восьмую лекцию Фриман посвящает значению для историка географии и путешествий. Это одна из его любимых тем: его „Историческая география“, его очерки историко-архитектурные и другие исторические очерки — плод обширных изучений и продолжительных странствований. Доказывать значение исторической географии, надеюсь, ныне, после замечательных трудов Е. Е. Замысловского, едва ли нужно и у нас; но нельзя не согласиться с нашим автором, что если значение это твердо установлено в теории, то в практике оно нередко нарушается: давно ли у нас перестали называть северо-западный край возвращенными от Польши губерниями! Еще ближе к нашему времени никто не имел понятия о том, что Холмщина, древнее достояние Романовичей Галицких, не Польша, а Русь. Свое положение Фриман подтверждает примерами, к каким заблуждениям может вести заявление, что Цезарь высадился в Англии, а не в Британии, или название Франции в событиях до IX в. и т. п. Его замечания о важности географических карт и спутанности в понятиях, происходившей при их отсутствии,



может каждый подкрепить своим опытом, если он учился в то время, когда в преподавании употреблялся только атлас древней истории да исторические карты Устрялова. Средняя и новая история лишены были пособия карт; можно представить себе, как это отсутствие препятствовало правильному знанию. Фриман в своем „Очерке европейской истории“ внимательно следит за изменениями в территории главных стран Европы. Это составляет одно из важнейших достоинств его компендия, Введение которого как руководства для повторения истории, было бы очень желательным во многих отношениях. Значение путешествий Фриман объясняет, главным образом, своим примером: так, вид Швейцарии объяснил ему, отчего здесь сохранились первобытные формы народных собраний, в Спалатро он понял значение времени иллирийских императоров, которым он посвятил несколько в высокой степени замечательных статей. Сравнение Римских холмов с Тускуланским объяснило ему происхождение римского владычества и т. д.

Кончая обозрение этой во всяком случае замечательной книги, не могу не выразить своего убеждения, что читатель ясно видел' в какой степени эта книга есть исключительно английская книга.' Быть может, это обстоятельство придает ей особый интерес. Эта книга есть результат большой опытности, продолжительных странствований, многих размышлений. Её практический характер придает ей некоторую отрывочность, в целом она далеко не удовлетворяет потребности в руководящей книге для занятий исторических: в ней не полно обозначены отношения истории к другим наукам, пропущены целые разряды источников, другие только слегка упомянуты; далеко неполно и несвязно указаны правила исторической критики. Все это правда, но правда и то, что чтение её чрезвычайно поучительно, что все, что говорит автор, он говорит по собственному опыту; все мысли, которые он выражает, ему принадлежат. Словом, это одна из тех книг, к которым наиболее подходят слова Монтана: „c'est un livre de bonne fol“. Мы уже не говорим о живости изложения, много зависящей от того, что общия рассуждения прерываются личными воспоминаниями, придающими этим рассуждениям и особую жизнь, и особую ценность.'



Сноски

1. Альфред Мори в своем весьма распространенном сочинении: „La terre et l'homme“ представил опыт особого рода введения в историю. Как известно, он собрал вкратце результаты естественных наук (со включением этнографии и лингвистики). Такое введение имеет свою пользу: изучающему историю, конечно, полезно знакомство с выводами и главными Фактами естественных наук; но подобное одностороннее изложение имеет и свои большие невыгоды. Теория Щапова у нас, теории многочисленных новейших писателей во Франции служит тому ясным доказательством. Главный вред этих теорий в том, что они суживают умственный горизонт.

2. При этом Фриман указывает на отношение истории искусства, преимущественно архитектуры, к истории, замечая, что эта отрасль знания, имея свои специальные свойства, входит тем не менее в круг знаний исторических. Иного и нельзя было ждать от Фримана, так искусно указавшего в своих многочисленных очерках историческое значение памятников архитектуры.

3. Впрочем и теория общей грамматики выходит из предположения об общем соглашении при образовании языка.

4. В Historical Essays Фримана находим (Third series) замечательную статью Race and Language, в которой очень метко указано различие этнологии от лингвистики: первая основана на Физических различиях человеческих пород, независимых от воли человека, ибо никто не может изменить Формы своего черепа, а вторая разделяет племена по языкам, в значительной степени зависящим от человеческой воли, ибо часты случаи, когда народ одного племени принимает язык другого. Вот почему первую науку Фриман считает Физическою, а вторую историческою. Язык, по мнению Фримана, более, чем происхождение отличает один народ от другого, ибо не только отдельные лица, поселясь между людьми одного происхождения, сливаются с ними, но и целые массы сливаются также: Фриман основывается главным образом на том, что в образовании родов и племен в древности начало усыновления (adoptio) играло важную роль. У нас на это начало с особою силой (быть может, не без преувеличения) указывал замечательный, теперь, к сожалению, уже не живущий с нами, исследователь—А. И. Никитский.

5. Подобный вопрос ставится и у нас и ставится вполне законно. Быть может, исследование его придаст более духовной энергии представителям нашей церкви и послужит началом



выхода из того положения, которое создалось для неё в начале XVIII века, быть может, не без благоприятных для того условий и в предшествующее время. Вопрос обширный, но настоятельный.

6. Нам случилось читать, будто изложение Д. И. Иловайского только литературное (то-есть, гладкое, ясное), а не художественное; но подобное суждение свидетельствует только о том, как извращен вкус у нашей публики пряными произведениями разных quasi-историков.

7. В русской литературе лет около сорока тому назад поднят был вопрос об исторической достоверности в замечательных статьях ир. С. С. Уварова (в Современнике) и П. Н. Кудрявцева (в Отечеств. Записках).

8. Для избежания свешения понятий мы позволили себе перевести beginning словом зачалю.